



# Москва

**4**  
**2021**

Журнал русской культуры

Выходит с марта 1957 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

Союз писателей России

Российский Фонд Мира

Трудовой коллектив  
журнала «Москва»

16+



4

2021

---

---

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Дмитрий ЛАГУТИН. <b>Им снятся сны.</b> <i>Рассказы</i> .....	3
Андрей ДМИТРИЕВ. <b>Воздух со вкусом тмина...</b> <i>Стихи</i> .....	35
Анатолий САЛУЦКИЙ. <b>Немой набат.</b> <i>Роман</i> .....	39
Елизавета МАЛЫШЕВА. <b>У комет еще столько пути впереди.</b> <i>Стихи</i> .....	115
Василий АКСЁНОВ. <b>Пронизки</b> .....	120
Дмитрий МЕШАЛКИН. <b>Друг, поехали...</b> <i>Стихи</i> .....	136

### ПУБЛИЦИСТИКА

Ярослав КАУРОВ. <b>Птенцы гнезда какого?</b> <i>Эссе</i> .....	139
--	-----

### КУЛЬТУРА

<b>Школа любви и молитвы.</b> <i>Беседа Виктора БАКИНА</i> <i>с Владимиром КРУПИНЫМ</i> .....	144
Сергей ШУЛАКОВ. <b>Парень молодой, неженатый...</b> .....	154
Леонид ВОЛЬМАН. <b>Дом в небесах</b> .....	156
Сергей ДМИТРЕНКО. <b>Салтыков (Щедрин).</b> <i>Биографическая повесть</i> .....	168

## МОСКОВСКАЯ ТЕТРАДЬ

Михаил ВОСТРЫШЕВ. Торговля в Москве после революции ..... 207

## ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ

Юрий КУЗИН. Молитва Господня ..... 219

---

---

Главный редактор В.В. АРТЕМОВ (495) 691-71-10

Генеральный директор В.В. КОВАЛЕВ (495) 691-83-91

---

Заместитель главного редактора М.М. ПОПОВ (495) 691-71-10

Отдел прозы и поэзии Н.В. БАЕВА (495) 691-68-01

Домашняя церковь С.И. НОСЕНКО (495) 691-68-01

---

Главный бухгалтер Л.Э. БУДНИКОВА (495) 691-83-84

Корректор О.И. ИВАНОВА

Технический редактор Е.Ю. ЕРОФЕЕВА

---

### Общественный совет:

игумен ЕВФИМИЙ (МОИСЕЕВ), П.Н. КРАСНОВ, В.Н. КРУПИН, В.А. КУЛЬЧИЦКИЙ,  
П.В. МУЛЬТАТУЛИ, А.С. САЛУЦКИЙ,  
М.Б. СМОЛИН (председатель), митрополит ТИХОН (ШЕВКУНОВ), А.В. ЩИПКОВ

---

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Рукописи, присланные по электронной почте, рассматриваются. Материалы принимаются только в распечатанном виде по адресу редакции. Журнал не публикует поэмы, либретто и сценарии.

Подписано в печать 18.03.21. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная. Печать офсетная.

Тираж 1480 экз. Заказ

Свидетельство о регистрации № 554 от 29 декабря 1990 года Министерства печати Российской Федерации

**Подписные индексы:** П2211 — «Почта России», 15612 — «Пресса России», П2211 — «Почта России».

Адрес редакции: 119002, Москва, ул. Арбат, д. 20. Телефон +7(495) 691-71-10. Факс +7(495) 691-07-32.

**Электронная версия журнала:** [www.moskvam.ru](http://www.moskvam.ru); **e-mail:** [priem@moskvam.ru](mailto:priem@moskvam.ru)

**Соцсети:** Facebook. <https://www.facebook.com/ZurnalMoskva/>

ВКонтакте. <https://vk.com/public180826834>

Одноклассники. <https://ok.ru/group/60690496159795>

Twitter. [https://twitter.com/Moskva\\_Magazine](https://twitter.com/Moskva_Magazine)

Instagram. [https://www.instagram.com/moskva\\_magazine/](https://www.instagram.com/moskva_magazine/)

Telegram. [https://t.me/joinchat/V\\_EofRUxtjHWdE9u](https://t.me/joinchat/V_EofRUxtjHWdE9u)

Отпечатано в АО «Красная Звезда». 125284, г. Москва, Хорошевское ш., 38. Тел.: (495) 941-32-09, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62. Сайт: <http://www.redstarprint.ru>; e-mail: [kr\\_zvezda@mail.ru](mailto:kr_zvezda@mail.ru).

ISSN 0131–2332

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

© Журнал «Москва» № 4, 2021

## ДМИТРИЙ ЛАГУТИН



## ИМ СНЯТСЯ СНЫ

*Дмитрий Александрович Лагутин родился в 1990 году в Брянске. Окончил гуманитарный класс Брянского городского лицея имени А.С. Пушкина и юридический факультет Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского.*

*Публиковался в изданиях «Новый берег», «Нижний Новгород», «Волга», «Нева», «Юность», «Урал», «Дальний Восток», «Иван-да-Марья», «Странник», в сетевых изданиях «LITERRAтура», «Южный остров», «Камертон», «Парус», «День литературы», «Литературная Россия», Hohlerv.ru, в приложении к журналу «Москва».*

*Победитель многих конкурсов. Лауреат национальной премии «Русские рифмы», премии «Русское слово» в номинации «Лучший сборник рассказов» (2018).*

*Член Союза писателей России.*

## РАССКАЗЫ

## Бинокль

Одной из самых красивых в мире вещей — наряду с маминой брошью и женским профилем, вырезанным из черной бумаги, вложенным в овальную рамку и хранящимся в предпоследнем зале краеведческого музея, — одной из самых красивых, самых таинственных и притягательных в мире вещей для Оли был белый театральный бинокль, через который она вместе с Наташей рассматривала соседские дворы и палисадники.

Гремя стремянкой, взвизгивая и смеясь, девочки забирались на чердак, устраивались у маленького квадратного окошка, протирали его — не успевшее запылиться — салфеткой и по очереди смотрели в бинокль, комментируя увиденное.

— Тимофеев мастерит табурет, — говорила Наташа, и девочки долго наблюдали за тем, как архивариус троллейбусного депо Тимофеев — высокий худой старик с коричневыми усами — сидит, скрючившись, на пороге своего сарая и стучит молотком по трехногому табурету, выживая гвозди из карманов рабочего халата, роняя их в траву и шаря по ней ладонью. Архивариус хотя бы раз в неделю мастерил по табурету, и казалось, что в доме у него ни для какой другой мебели места хватать не должно.

На чердаке пахло опилками и пылью, по углам белела паутина. Громоздились друг на друга коробки и ящики, свертки и тюки. Между тюками возвышались башней напольные часы с маятником — много лет не работающие и неизвестно как тут оказавшиеся, — рядом блестел звонком трехколесный Наташин велосипед. Золотые лучи — вылазки чаще всего происходили по вечерам — с готовностью били в окошко и рассекали чердак надвое, рисуя на противоположной стене желтый прямоугольник.

Солнце краснело, куталось в лиловые облака, клонилось к дальним крышам, и прямоугольник менял свой цвет — а потом бледнел и гас. На округу опускались сумерки, все уплывало куда-то, крыши, заборы, кроны деревьев сливались друг с другом и таяли. В домах по одному загорались окна, старик Тимофеев еще несколько раз взмахивал молотком — по дворам разносился негромкий, глухой стук, — разгибался, подхватывал табуретку и брел к крыльцу; загорался наконец уличный фонарь — и зоркий взгляд бинокля перебежал от одного источника света к другому. Вот чья-то кухня: холодильник, плита с синими огоньками конфорок; вот мерцает сквозь тюль квадратный экран телевизора. Вот под плафоном фонаря вьются, сталкиваясь и бросая на землю неясные мелькающие тени, майские жуки. Вот в конце улицы — чтобы увидеть, нужно приоткрыть окошко, вдохнуть сладкий вечерний воздух — догорает костер, и под рыхлым белесым дымом алеют угли. А вот покачивается в одном из дворов голая круглая лампочка — выхватывает из сумерек то блестящий бок теплицы, то пышную клумбу. Возле каждого огонька — своя жизнь, свои приметы и тени, и даже свой, особенный свет. И чем сильнее сгущаются сумерки, тем ярче светят окна и фонари, тем они загадочнее и волнительнее.

Но гостить у Наташи допоздна Оле разрешалось нечасто — только в те дни, когда отец возвращается из Москвы и может заехать за ней по пути с вокзала. Тогда она издалека видела, как появляются у перекрестка огни фар и плывут по дороге, танцуют на кочках, увеличиваясь, как они наконец останавливаются, вытягивая широкие лучи, напротив дома, а потом и нутро автомобиля освещается, и за бесчисленными сумками, коробками и пакетами видно отца.

И потом, сидя на заднем сиденье, стиснутая позвякивающими свертками, Оля оборачивалась и видела, как блестит в свете фонаря квадратное чердачное окошко, и ей казалось, что это блестит прекрасный театральный бинокль.

Бинокль Наташа тайком таскала из бабушкиной комнаты, из старого, массивного, во всю стену, шкафа. И бинокль был действительно чудесным — белым, блестящим, точно керамическим, с желто-фиолетовыми выпуклыми линзами в медных ребристых дужках и шестиугольным колесиком, которое так приятно крутить и от которого зависит, можно ли будет рассмотреть каждый уголок догорающего костра или все они сольются в светящееся облачко.

«Очень дорогая вещь», — говорила Наташа строго, и больше всего на свете Оля боялась уронить бинокль — и все равно однажды уронила, когда по ее голому плечу пробежал невесть откуда взявшийся паук. Оля взвизгнула, уронила бинокль и тут же с ужасом схватилась за голову, зажмурилась — как и Наташа. Бинокль оказался цел, на линзах не обнаружили ни царапины — но несколько минут сердце у Оли колотилось так, что, когда внизу скрипнула дверь комнаты и Наташина бабушка взволнованно окликнула девочек со словами: «Что у вас там за грохот?» — можно было решить, будто она имеет в виду грохочущее Олино сердце.

— Ничего! — крикнула Наташа. — Все хорошо!

В тот вечер было за чем наблюдать: местные мальчишки раздобыли где-то большую деревянную бочку и по очереди забирались в нее, закрываясь крышкой. Потом они придумали укладывать бочку на бок, один ползал внутрь, закупоривался, а остальные с улюлюканьем катили его по дороге. Наконец бочка, проскакав по ухабам и подняв облако пыли, останавливалась, из нее вываливался совершенно счастливый пассажир, на

заплетающихся ногах ходил кругами, осматривал колени и локти и про-  
сился обратно, но в темное нутро уже полз на четвереньках следующий.

Мальчишки катали бочку до самого вечера — и Оля уже спускалась по ступеням крыльца, толкала калитку и шла вдоль палисадников к перекрестку, с которого виден был ее дом, а на улице все раздавались восторженные крики.

Если смотреть было не на что, девочки начинали фантазировать.

— По Новосоветской катится карета, — сообщала Наташа и протягивала бинокль Оле.

Оля смотрела на пустую Новосоветскую, по которой трусила, опустив нос к земле, дворняга, и видела роскошную карету, запряженную четверкой белоснежных лошадей. Из-под колес, из-под копыт, сверкающих подковами, вылетали камни, дворняга испуганно шарахалась в сторону, возница в широкополой шляпе с перьями подпрыгивал и высоко вскидывал вожжи.

— Но-о!

Звенели колокольчики, из кареты звучала, заливаясь, скрипка.

Скрипка звучала на самом деле — Наташина бабушка готовила ужин и слушала радио.

— Что там? Что? — шептала Наташа.

— Едут к замку.

Вдали, над зеленым морем из крон и крыш — весной крон, казалось, было больше, — вставал, сверкая на солнце, величественный замок — горели всеми цветами витражи, на шпилях развевались флаги, по стене ходили туда-сюда часовые, по красной черепице скользили закатные блики. На высоком крыльце видны были фигурки трубачей.

— Дай, дай! — восклицала Наташа и тянула бинокль к себе.

Замок растворялся, и море из крон теперь выглядело сиротливо. Карета тоже растворялась, и ничто не мешало дворняге бежать по середине дороги — и только скрипка продолжала играть. Оля смотрела на переливающийся в солнечных лучах бинокль и в щель между окуляром и Наташиной скулой видела, как светятся у той глаза.

Наташа восхищенно вздыхала.

Дома тоже был бинокль — охотничий, купленный старшим братом в прошлом году, еще до армии. Этот бинокль смотрел дальше, к глазам прижимался плотнее и колесиков имел не одно, а целых три, но он был тяжелый, громоздкий, угольно-черный и совершенно отказывался блеснуть на солнце — и поэтому сквозь него нельзя было увидеть ни замок, ни карету, и даже старик Тимофеев со своими табуретками или майские жуки, вьющиеся над фонарем, под его взглядом казались скучными и неинтересными.

— Ну купи ты ей бинокль, — смеясь, говорила мама отцу. — Неужели в Москве и бинокля не найти? И выключи, будь добр, телевизор, надоел ужасно.

По телевизору только и говорили что о предстоящем конце света, о рубеже тысячелетий, о молекулярных уровнях и стихийных бедствиях. Мама штудировала бухгалтерские журналы, щелкала калькулятором и аккуратным почерком исписывала несколько толстых тетрадей одновременно — вела бухгалтерию.

— Вы же двадцать второго поедете? — спрашивала она отца. — Забеги в антикварный какой-нибудь.

Ночью с двадцать второго на двадцать третье отец вернулся из Москвы и привез Оле шкатулку с павлинами — обитую изнутри синим шелком, на маленьких изогнутых ножках, тяжелую и холодную.

— Нету биноклей, — развел он руками. — Только шкатулки и сабли.

Шкатулка была очень красивая — но с биноклем сравниться не могла. Кроме того, дома была уже одна шкатулка — она тоже стояла на ножках и тоже была обита шелком — правда, красным, — а по крышке вместо павлинов танцевали цветы. В ней хранились мамины украшения — в том числе чудесная брошь, которая одна — вместе с вырезанным из бумаги профилем — все же могла составить биноклю конкуренцию.

Брошь мама нашла, ныряя в море, еще в Новороссийске, до переезда и Олиного рождения. Одного камешка в ней не хватало, его заказывали ювелиру отдельно, и Оля провела немало времени, вглядываясь в калейдоскоп из сине-зеленых граней, складывающихся на свету в причудливые узоры.

— У каждой леди должна быть своя шкатулка, — сказала мама, отрываясь от тетрадей и растирая красные, усталые глаза. — Вот и у тебя теперь есть.

Наташе шкатулка тоже понравилась.

— Старинная, — протянула она восхищенно.

Но потом на цыпочках прокралась в бабушкину комнату и вышла, прижимая к груди бинокль, — и про шкатулку тут же забыли.

Спустя неделю или две отец снова уехал в Москву и снова обещал взглянуть к антиквару — а Оле разрешили остаться у подруги допоздна.

Только вот с погодой не вышло. День был пасмурный, серый, море из крон волновалось от ветра. Мальчишки побежали на соседнюю улицу пускать змеев, и здорово было смотреть в бинокль на то, как показываются из-за крыш белые тоненькие прямоугольники — становятся на дыбы, проваливаются, кувыркаясь, выпрыгивают снова и набирают высоту. Лучший из змеев взмыл над домами, встал почти вертикально и, точно через силу, туго и непослушно пополз над улицей, постепенно снижаясь. Потом ветер усилился — и в чердачное окно посыпались царапинами мелкие капли. Змеи — даже самый лучший — пропали и больше не появлялись.

На улице и во дворах было пусто, облака потемнели, нависли угрожающе.

— Тимофеев мастерит космический корабль, — протянула задумчиво Оля, глядя на пустой двор архивариуса, по которому метался подхваченный ветром пакет.

Наташа взяла бинокль.

— Действительно, — согласилась она. — Деревянный космический корабль.

Ветер засвистел в водосточной трубе, пакет перелетел через забор, набрал высоту и, надувшись, закружился над улицей — и кружился так, пока не спикировал в один из дворов. Дождь усилился, слышно было, как он барабанит по шиферу на крыше. В небе, под самыми облаками, сновали стрижи.

— Внутрь залез, — сообщила Наташа. — Сейчас взлетать будет.

Оля взяла бинокль и стала смотреть на стрижей.

— Взлетел, — вздохнула она. — Набирает высоту...

Дождь обрушился ливнем, загрохотал по крыше, улица растворилась в серебряном мареве. Стрижи бросились врассыпную и исчезли.

— Все, — сказала Оля, — скрылся в облаках.

По облакам прокатились глухие раскаты грома.

Оля повела бинокль вниз, в сторону, но из-за дождя ничего нельзя было рассмотреть — в пелене вспыхивали, загораясь, пятна окон, но очертания их таяли и дрожали. Вдобавок ко всему по стеклу ручьями побежала вода. Море из крон побледнело и слилось во что-то сплошное, неясное, готовое в любой момент раствориться.

— Наташа! — раздался откуда-то издалека встревоженный голос. — Гроза! Спускайтесь!

Оля отняла бинокль от глаз и посмотрела на подругу.

— Спускайтесь! — снова позвала бабушка. — Чай будете?

Наташа оценивающе посмотрела на окно.

— Идем! — крикнула она сквозь грохот.

Оля согласно кивнула.

Внизу было не так шумно, куда теплее, и из кухни пахло пирогами.

— Я сейчас, — шепнула Наташа и бросилась с биноклем к бабушкиной комнате.

Бабушка выглянула из кухни.

— Заходи, Оля, — пригласила она. — А Наташа где?

Она вышла, сделала несколько шагов и оказалась на пороге своей комнаты. Оля увидела, как вытянулось ее лицо, услышала смущенный Наташин смешок и на всякий случай проскользнула в коридор.

Наташина бабушка была очень строгой — и Оле очень не хотелось услышать, как она ругается. Она боялась, что и ей достанется и что — она холодела при этой мысли — о бинокле придется забыть. Она с тоской поглядывала на оставленные у двери босоножки и думала, что если сейчас Наташина бабушка попросит ее уйти — а она обязательно попросит, и посмотрит при этом холодно, свысока, поджав свои и без того тонкие губы, — что тогда она обязательно промочит ноги и сама вся промокнет без зонта и непременно заболит, и придется лежать дома под двумя одеялами, пить горькие лекарства и полоскать горло календулой.

Но больше всего ей было жаль бинокля.

Однако прошла целая минута, а ее никто не просил уйти — и даже не было слышно Наташиного плача, хотя Наташе только дай повод по-реветь, и ревет она в голос, так, что через улицу слышно. Оля наблюдала однажды, как бабушка ругала Наташу за разбитую солонку и как Наташа голосила при этом — точно ее бьют.

«Наверное, это еще хуже, — думала Оля, — что она там молчит».

Но в следующее мгновение Наташа вышла в коридор — красная, но не заплаканная. Она посмотрела на Олю и подмигнула. Следом вышла Наташина бабушка с биноклем в руках.

— Идите есть, — устало сказала она. — Театралы.

Оля покосилась на босоножки и пошла вслед за Наташей — вслед за Наташей шагнула в горячую, ярко освещенную кухню, вслед за ней вымыла и вытерла жестким вафельным полотенцем руки, вслед за ней села за квадратный, застеленный скатертью стол, примостившись в углу, у шкафчика с посудой, стиснула ладони между коленей и стала искоса наблюдать за тем, как бабушка хлопочет перед распахнутой, раскаленной духовкой, разливает по чашкам кипяток из посвистывающего, брызгающего чайника.

Бинокль теперь лежал на столе, и в его желто-фиолетовых линзах, похожих на пленку мыльного пузыря, отражалась, сворачиваясь и изгибаясь, кухня вместе с бабушкой, Олей и не перестающей заговорщически подмигивать Наташей.

Со стороны улицы по подоконнику колотил дождь, заурчал, усилился и прогремел что есть мочи над самым домом гром. С этой стороны на подоконнике — на вязаном коврик — стоял радиоприемник, едва различимо играла какая-то музыка.

— Копаться в чужих вещах — отвратительное качество, — говорила бабушка, выставляя дымящиеся кружки на стол и с тревогой глядя на окно. — Но я не понимаю — почему нельзя было просто попросить?



Она подвинула бинокль и опустила на середину стола блюдо с пирогом. У Оли под ложечкой засосало.

Наташа виновато опустила голову.

— И давно вы этим занимаетесь? — Бабушка села за стол напротив Оли, двумя пальцами подхватила пирог, положила на блюдце перед собой и усмехнулась. — С тех пор как повадились на чердак?

Наташа опустила голову ниже, но украдкой посмотрела на Олю и опять подмигнула.

— Хватит подмигивать, — вздохнула бабушка и повернулась к Оле. — Не съем я вас, не бойся. Бери пирог.

Оля осторожно взяла пирог, обожглась, уронила на блюдце.

— Но копать в чужих вещах, — строго повторила бабушка, глядя на Наташу, — недопустимо.

Наташа театрально кивнула и потянулась за пирогом.

И какое-то время сидели молча, слушали дождь, пили чай. Оля наконец смогла справиться с пирогом, он разломился пополам, и из красного, с комочками ягод, крошечными черными косточками, нутра дохнуло жаром. Прогремел с треском, точно над кухней раскололась надвое крыша, гром, бабушка приподняла занавеску и сделала радио громче.

В кухне было жарко, даже душно, пахло тестом и кофе — бабушка пила густо-черный кофе, — Оля обжигалась и от чая, и от пирога, сидела на неудобной деревянной табуретке, и все же ей было очень хорошо — она украдкой смотрела по сторонам, в щель за занавеской видела темную, сотрясающуюся от ветра листву и все время возвращалась взглядом к белому биноклю, который снова лежал в самом центре стола и поблескивал перламутровыми боками. В боках его тоже отражалась кухня — вытягивалась, опрокидывалась дугой.

— Надо же, — усмехнулась бабушка, прислушиваясь к радио. — И как раз гроза.

Свист скрипок сливался со стуком дождя, и казалось, что стучит тоже из радио.

Бабушка задумчиво посмотрела на бинокль, протянула к нему худую руку с длинными пальцами и узким, бледным запястьем.

— Когда-то я с этим биноклем не расставалась... — проговорила она. — Столько он видел...

Она посмотрела на Олю и кивнула.

— Я ведь болела театром. Не пропускала ни одного серьезного спектакля.

Оля улыбнулась, не зная, что сказать, разломил еще один пирог, и из него на скатерть упала большая красная капля.

— Простите, пожалуйста, — пробормотала она, промокнула пятно предложенной салфеткой и спросила, чтобы не было так неловко: — А сейчас?

— Что «сейчас»?

Оля кашлянула:

— Сейчас — театр?

Бабушка рассмеялась и махнула рукой.

— Какой сейчас театр! — Она покачала головой. — Тем более здесь.

Она поднесла бинокль к глазам и заглянула в него, а когда отняла, взгляд у нее был еще задумчивее, точно сквозь линзы она увидела что-то, кроме огромного блюда с пирогами.

— Н-да, — вздохнула она, возвращая бинокль на стол.

Она вдруг вскинула голову, взгляд прояснился.

— А ведь у меня и программки остались! — Она посмотрела на Наташу. — Наташенька, дружок, принеси из книжного шкапа, из самого низа, где подписки, мой альбом.

— Красный? — спросила Наташа.

— Красный.

И пока Наташа искала альбом, Оля все поглядывала на бабушку, а та, придерживая занавеску рукой, смотрела в окно. Скрипки затихли, а дождь все так же колотил, но гром уже не гремел. После недолгого молчания приемник тихо запел женским голосом, вокруг которого защелкали помехи, означающие — Оля знала, — что запись проигрывается на граммофоне. Бабушка сидела неподвижно, смотрела в окно, и ее вытянутое лицо с тонкими губами, высоким лбом и острым подбородком светилось под лампой. Бледно-русые волосы сплетались в тугий пучок, мочку уха оттягивала блестящая сережка.

Вбежала Наташа и водрузила на стол тяжелый альбом в красной картонной обложке. Бабушка оторвалась от окна, отпустила занавеску и, отодвинув от себя пустую чашку, раскрыла альбом посередине, стала медленно перелистывать, подхватывая страницы за уголок.

Оля допила чай и вытянула шею.

Альбом был заполнен фотографиями — в основном черно-белыми. Между ними попадались аккуратно сложенные листы, конверты, газетные вырезки с иностранными заголовками.

— Это вы? — спросила Оля неожиданно для себя самой, увидев большую — во всю страницу — фотографию, и тут же смутилась — на фотографии конечно же была изображена актриса. На худой конец — певица.

— Я, — улыбнулась Наташина бабушка.

Она отодвинулась и посмотрела на фотографию так, как смотрят на картину — выставив подбородок чуть вперед, прищурившись, — а потом приподняла альбом и повернула его к Оле.

С фотографии Оле улыбалась, чуть поджав губы, девушка невероятной красоты. Густые черные волосы, осыпающиеся прядями, были собраны к макушке и схвачены причудливым гребнем, тонкую белую шею украшали два ряда полыхающих бус.

Оля смутилась.

— Не верится, — усмехнулась бабушка, поворачивая альбом к себе. — Вот и мне тоже... Известный фотограф, хоть в рамку и — на стену. — И она с видимым усилием перевернула страницу, продолжила листать.

Оля прислушалась — дождь успокаивался.

— Вот... — Бабушка пригладила разворот альбома ладонью и стала вытягивать из широкого конверта тонкие пожелтевшие буклеты, раскладывать их на столе, вокруг бинокля. — Вот Мариинский... Вот Александринка. А это БДТ...

Почти все буклеты были узкие, одноцветные, напечатанные на тонкой бумаге с вохристыми сгибами. Сквозь бумагу просвечивал спрятанный на обороте текст, уголки кое-где были заматы треугольниками. Оле показалось, что она чувствует запах старой бумаги, — как пахнет старая бумага, она знала по огромным, строгого вида собраниям сочинений в отцовском шкафу. «Каменный цветок», «Гамлет», «Спартак» — Оля переводила взгляд с одного выцветшего заголовка на другой, вчитывалась в незнакомые фамилии, натыкалась на указания года и прикидывала, сколько лет было в этот год ее родителям, сколько лет оставалось до ее рождения, а в самом центре стола лежал как ни в чем не бывало бинокль, лежал и блеснул перламутровыми боками, отражал в своих линзах кухню, и невоз-

можно было поверить, что он и эти хрупкие, тонкие программки — из одного времени, как нельзя было поверить в то, что Наташина бабушка была когда-то красавицей с фотографии.

— Да, — вздохнула бабушка, бережно раскрывая одну из программ, — театр!

Наташа, по-видимому знакомая с содержимым альбома, скучала, покачивалась на стуле, положив ладони на скатерть, и, когда бабушка стала возвращать программки в конверт, подмигнула Оле, похвалила пироги и встала.

— Да берите, берите, — отмахнулась бабушка на умоляющий взгляд, и Наташа схватила бинокль. — Только, девочки, пожалуйста, — бабушка посмотрела на Олю, — не разбейте.

Оля кивнула, поблагодарила за угощение. Наташа уже гремела стремянкой в коридоре.

После кухни казалось, что на чердаке — холодно. Еще сильнее пахло опилками, и было совсем темно, только из коридора в квадратный проем плыл неяркий свет. По шиферу еще стучал дождь, но уже устало, из последних сил.

— Я эти программки, — сказала Наташа, устраиваясь у окна и поднося бинокль к глазам, — наизусть выучила. «Испанские миниатюры» — шестьдесят седьмой, «Блудный сын» — семьдесят четвертый.

Оля удивилась — почему не рассказывала прежде? Но спрашивать не стала. Она смотрела на подругу и пыталась угадать, будет ли та похожа на бабушку. Будет ли такой же красивой? И хотя все говорили, что Наташа похожа на мать, приезжающую из Петербурга не чаще четырех раз в год, теперь ей казалось, что Наташа обязательно станет такой, как бабушка, и у нее тоже будет чудесная фотография, которую «хоть в рамку и — на стену».

— Вижу Трофимова, — сообщила Наташа, глядя куда-то вверх. — Заходит на орбиту, собирается снижаться.

За окном было темно, очертания домов расплывались, из-под фонаря сыпался косыми искрами дождь, в палисадниках перед теми из окон, в которых горел свет, блестели мокрой листвой кусты сирени и шиповника. Море из крон едва заметно раскачивалось. У горизонта небо еще было бледно-синим, но на его фоне вставала высокая ровная стена облаков — густо-черная, — опоясывала крыши, уходила далеко в сторону. Над ней в самом центре синей полосы светилась яркая, крупная, похожая на драгоценный камень звезда.

Оля взяла бинокль, запрыгала от фонаря к фонарю, от окна к окну, поднялась к звезде, но ее бинокль увидеть четко не мог и смотрел как сквозь туман.

— Трофимов снижается, — проговорила Оля задумчиво. — Высунулся в иллюминатор и машет рукой.

Трофимов долго снижался, кружил над двором, боясь задеть теплицу, и наконец сел, оборвав бельевую веревку. Тут же он принялся разбирать космический корабль — «чтобы не привлекать внимания», — а когда перетасил почти все доски в сарай, перекресток озарился светом фар, и Оля стала собираться домой. Наташина бабушка вручила ей бумажный кулек с пирогами, а потом они обе — и бабушка, и Наташа — стояли в дверях и ждали, пока Оля, прикрыв макушку ладонью, втянув голову в плечи, бежит к машине, протискивается на заставленное сумками сиденье и машет рукой.

— В антикварном был, — с ходу сообщил отец. — Шкатулки и сабли, сабли и шкатулки.

Он наклонил широкое зеркало, и Оля увидела его смеющиеся — хотя и усталые, с тяжелыми, темными веками — глаза.

— Тебе сабля не нужна? — спросил он, делая голос серьезным.

Перед сном Оля долго лежала в кровати, прислушивалась ко вновь усилившемуся дождю, смотрела на бледную щель между шторами и представляла себе театр: залитую светом сцену, тяжелые красные кулисы, бархатные спинки кресел с металлическими номерами, причудливые гребни, бусы, веера, бинокли, платья, костюмы, овации и летящие из зала цветы, актеры выходят на сцену, кланяются, держась за руки, посылают зрителям воздушные поцелуи, с балконов кричат восторженно, сверкают молниями вспышки огромных фотоаппаратов. И, засыпая, проваливаясь в зыбкую, неровную тьму, Оля была уверена, что все это ей сейчас приснится, что вот-вот заискрятся вокруг нее огни, зашумит публика, вздохнет скрипками оркестр.

Но, проснувшись ранним утром в светлой, зеленовато-желтой от сияющей сквозь шторы листвы комнате, под разливающимся за окном птичий щебет и шум воды, разговоры родителей, доносящиеся из кухни, подтянув горячее одеяло к щеке и глядя на комод, по которому плыли, дотягивались до шкапулки с павлинами и таяли широкие золотые лучи, пробившиеся из-за штор, она, как ни старалась, не могла вспомнить — снилось ей что-нибудь этой ночью или нет.

## Мы с Крылышкиным

Фонари зажгли, когда небо над парком было еще совсем светлое, бледно-синее — но сразу стало казаться, что уже поздний вечер.

Потом за колышущейся листвой показалась одинокая, похожая на камешек звезда, небо стало густеть, сливаться с теми кронами, до которых не дотягивался желтый свет фонарей, потом оно как-то резко вдруг потемнело, точно погасло, а потом Лёля, сидевшая у самого окна, крикнула на всю студию:

— Екатерина Андреевна! Олег Викторович идет!

Мы все вытянули шеи — а те, кто сидел на другой стороне стола, привстали из-за своих мест — и увидели, как через усыпанный листвой парк шагает, закутавшись в пальто, втянув голову в плечи и засунув руки в карманы, Олег Викторович, муж нашей Киты.

Киту тоже встала из-за своего места, вытерла руки о полотенце, поправила очки и подошла к окну.

Я заметил, что она нахмурилась.

Вообще, Олега Викторовича никто в студии — кроме, конечно, Киты — не любил. Никому он не нравился, и все над ним тихонько смеялись — слишком уж он был неуклюжий, и нос у него был картошкой, и лицо все время такое, словно еще секунда — и он заплачет. И прозвище это нелепое — Киту — Киту получила из-за него, когда, ворвавшись однажды в студию раньше нее, мы обнаружили на столе сверток в сиреневой бумаге, с лентой и записку, приколотую булавкой.

На записке красовалось: «Моей Китти». Только «Моей» было написано по-русски, а «Китти» по-английски — «Kitty», а вбежавший первым и первым же подскокивший к свертку Крылышкин прищурился и прочел как сумел, растягивая гласные:

— Моей Киту-у.

— Работай над произношением, — сурово прокомментировала от двери Екатерина Андреевна, и в студии повисла тишина.

Крылышкин обмяк, забормотал что-то, попятился, зацепившись за ближайший мольберт и чуть его не опрокинув, а Екатерина Андреевна, с щеками в красных пятнах, нахмурившись, прошла к свертку, подхватила его и не глядя сунула в ящик стола.

С тех пор ее стали звать Киту.

И сейчас Киту стояла у окна, хмурилась и смотрела на то, как через парк идет ее муж.

По парку гулял, загребая листву, ветер, и видно было, что Олег Викторович от погоды не в восторге — он еще глубже втянул в плечи коротко стриженную голову и то и дело поправлял шарф, для чего приходилось вынимать из карманов то одну руку, то другую.

Я его тоже не любил — Олега Викторовича — и не знал, что Киту вообще могла в нем найти, но сейчас он был как нельзя кстати. Я отвернулся от окна и многозначительно посмотрел на Крылышкина.

Крылышкин многозначительно кивнул — а потом склонился над своим псом и приладил к его спине второе крыло.

Кого бы ни брался лепить Крылышкин, все у него были крылатые. Были крылатые лошади, были крылатые обезьяны, были крылатые коты, и был даже крылатый бегемот с разинутой от удивления пастью. Началось все с лошади, которая задумывалась пегасом и потому на крылья имела законные права, но кто-то пошутил, что у Крылышкина лошадь с крыльями не потому, что это пегас с журнальной картинки, а потому, что лепит ее, собственно, человек по фамилии Крылышкин, и Крылышкину эта шутка вдруг очень понравилась, а за ним — неожиданно для всех — понравилась самой Киту, которая и подсказала, что крылья могут стать авторской особенностью, которая поможет начинающему скульптору нащупать собственный почерк и остальных к этому побудит.

И сейчас Крылышкин лепил крылатую немецкую овчарку — с картинки, а если точнее, то с картонного календарика, на котором овчарка — без крыльев — сидела у ноги широкоплечего пограничника с автоматом наперевес.

Я тоже лепил пса — вся студия уже третье занятие лепила псов, — только на моем календарике овчарка была не немецкой, а шотландской — колли, — и была она такой лохматой, что под густой шерстью вполне могли прятаться средней величины крылья. Из-за лохматости лепить ее было сложно — как я ни старался, пес выходил грузным и неуклюжим, лапы у него казались коротенькими, а тело несоразмерно большим. Но морду помогала делать Киту, и морда получалась замечательно — я ее старался вообще не трогать и хотел оставить как есть до самого обжига.

Все лепили разные породы — кому какой календарик достался: были тут и такса, и гончая, и похожий на игрушку пудель. Хуже всего было Лёле — ей выпал бульдог, и он у нее совершенно не получался.

— У тебя, Лёля, потому не получается, — говорила Киту, — что ты никак его не полюбишь. А то, что делаешь, надо любить — иначе можно и не братья. Чуда не произойдет.

Она вытирала руки о фартук и брала календарик за уголок.

— Посмотри, какой милый. Как будто улыбается.

С календарика нам улыбался, выпучив блестящие глаза и высунув из-под тяжелой губы кончик языка, бульдог, похожий на поросенка.

— Екатерина Андреевна, — хныкала Лёля, — это поросенок какой-то сморщенный... Можно мне таксу?

Хозяин таксы возмутился, прятал календарик под блюдо с глиной. Поднимался шум.

— Слепи ему крылья, — советовал Крылышкин. — Увидишь, совсем другое дело будет.

Лёля фыркала.

Когда Олег Викторович скрылся под окнами, Киту вернулась на свое место — во главе длинного, заставленного плоскими и блюдами, дощечками и карандашницами, не говоря уже об игрушках, стола, села и продолжила выдавливать складки на пышной глиняной юбке. Киту одна не лепила собак — она работала над начатой в прошлом месяце балериной. Балерина стояла на носочках, вытянувшись в струну, вскинув тонкие руки над головой. У нее еще не было лица — только темнели обозначенные стеклом впадины для глаз, — но были стянутые на макушке в пучок волосы, были тесемки платья под острыми лопатками и крошечные, еще бесформенные застёжки на башмачках.

Все знали, что в детстве Киту хотела стать балериной — она сама рассказала об этом однажды, за традиционным чаепитием, которым оканчивались занятия зимой.

Я посмотрел на окно — за ним волновался под ветром парк, вздыхал то в одну сторону, то в другую листопад, небо — совсем темное — уплывало все выше. По стеклу царапали, вздрагивая, веточки — у самой стены раскидывал крону старый клен, тянулся к окнам, гнул толстые, в темной коре локти — и широкие пятипалые листья на них трепетали и терлись о подоконник.

— Сережа, — сказала Киту, отрываясь от балерины, — ты пересушиваешь. Испортишь хорошую вещь.

В этот момент мы слышали в коридоре шаги. Шаги становились все громче, а потом дверь приоткрылась, и в студию заглянул Олег Викторович.

— Здравствуй, Катя, — поздоровался он и шмыгнул носом.

Киту закончила выдавливать очередную складку на юбке балерины и встала.

— Продолжайте лепить, — сказала она холодно.

Она сняла фартук, бросила его на спинку стула, повернулась к двери и вышла из студии вслед за шмыгающим Олегом Викторовичем.

Зазвучал приглушенный разговор, стал удаляться.

На секунду в студии повисла тишина, потом Крылышкин вскочил и бросился к умывальнику. Я поставил неуклюжего колли на картонку, подпер для верности комком глины и побежал следом.

Крылышкин уже тер руки полотенцем.

— Давай-давай, — торопил он меня, — самый момент.

Я катал в ладонях кусок твердого хозяйственного мыла, в раковину бежали темно-серые ручейки.

Кто-то выпрыгнул из-за стола, пробежал через студию, приоткрыл дверь и выглянул в коридор.

— Давайте! — шикнул он. — Я свистну!

Крылышкин плюхнулся на живот и вытянул из-под шкафа наши с ним куртки — скрученные, в пыли и паутине.

Куртки мы прятали впопыхах, пока Киту была у печи, — и лучше места не придумали.

— Над столом не трясите! — крикнула Лёля. — Потом почиститесь!

На нас смотрели несколько пар восхищенных глаз. Я прижал куртку к груди, распахнул настежь дверцу в углу студии, у окна, и ввалился в

тесную комнатку, половину которой занимала печь. Крылышкин догнал меня, врезался в спину.

В студии заскрипели стулья, восхищенные взгляды замаячили на пороге комнатки.

— Коробку — на шкаф, — советовали нам.

— А газеты в ящик кидайте!

В дальнем углу комнатки, за печью, стоял, прижавшись к стене, широкий вытянутый верстак, заваленный чем только можно — от бумаг до осколков взорвавшихся в печи игрушек. Под верстаком толпились коробки, банки из-под краски, стеклянные банки, лежали стопками дощечки, обрезки картона, связки газет. И сейчас мы с Крылышкиным, зацепив куртки за дверную ручку, выгребали все это из-под верстака и рассовывали по углам, стараясь, чтобы ничего не бросалось в глаза.

— Красотища! — пыхтел Крылышкин. — Самое то! Эту оставим.

Он выхватил из моих рук высокую коробку, пихнул в нее кипу смятых газет и пристроил под верстаком — с приходу.

— Проверка... — прокряхтел он, согнулся и на четвереньках влез за коробку, под верстак.

От двери раздался восхищенный вздох в несколько голосов.

— Места полно! — крикнул Крылышкин из-под верстака. — Еще пятерых можно вместить! Меня видно?

— Нет! — загомонили от двери. — Не видно!

В комнатку протиснулась Лёля.

— Тут еще подставьте... С краю было... — И она прижала к коробке пузатый кувшин с треснутым боком.

Кувшин закачался, Крылышкин придержал его, высунув из-за коробки руку.

— Не разбить бы... — пробормотал он.

Он осторожно отодвинул кувшин и выглянул — взъерошенный, с паутиной на волосах.

— Выпускайте.

Я отступил на шаг, Лёля прыгнула к двери, и Крылышкин, пыхтя, выполз из-под верстака, выпрямился, отряхнулся.

— Давай куртки.

Я протянул ему куртки, он стиснул их потуже, наклонился и пихнул под верстак, придвинул поплотнее коробку, поставил аккуратно кувшин.

Из студии раздался тоненький, срывающийся свист. Поднялся топот, грохот, все повалили к столу, загремели стульями, Лёля со своего места дотянулась до дверцы в углу и толкнула ее, закрывая. Я плюхнулся перед глиняным колли, схватил его с картонки и, тяжело дыша, стал делать вид, что поправляю густую глиняную шерсть. Крылышкин снял с овчарки одно крыло и заковырял по нему зубочисткой.

Киту вошла в студию, закрыла за собой, хлопнув дверью, в два шага оказалась у стола, накинула фартук и завязала, заведя руки за спину. Потом она села, внимательно посмотрела на нас, точно хотела что-то сказать, улыбнулась и склонилась над балериной.

Какое-то время лепили молча, а потом Лёля снова захныкала — недовольная бульдогом. Киту подошла к ней, стала помогать, объяснять, Крылышкин завел разговор о путешествиях во времени, и в студии снова стало шумно и весело.

Я в двадцатый раз переделывал лапы — то вытягивал их так, что они становились похожи на спички, то сжимал, и тогда колли напоминал медвежонка, стоящего на четвереньках. Потом я обратным концом кисти

продавливал уши, делал их тоньше, острее, тер мокрым пальцем глиняный загрибок, смотрел на вытянутую, ловко схваченную Киту, морду с глазами-точками и думал: «А вдруг правда?»

Потом оглядывал встающие вдоль стен стеллажи, за стеклами которых толпились десятки — сотни? — разноцветных фигурок: людей, животных, сказочных существ. За стеклами стояли, нахохлившись, глиняные избушки с глиняными палисадниками и подсолнухами, расправляли крылья глиняные утки и вороны, вытягивали шеи, смотрели удивленно глиняные жирафы, сворачивались калачиком глиняные коты, вокруг них сновали глиняные мыши. Я смотрел на все это и думал: «А вдруг вот раз — и правда?» — и по шее мне веяло холодком. Я ловил взгляд Крылышкина и понимал, что и по его шее веет холодком: глаза у него горели, он принимался многозначительно подмигивать, пожимать плечами. Крылатая овчарка в его руках раскачивалась, словно на волнах.

Во время традиционных зимних чаепитий — они, конечно, случались не только зимой, но зимой без них не обходилось ни одно занятие, — во время чаепитий, когда за окнами клубилась оранжевая в свете фонарей метель, а над чашками покачивались горячие ниточки пара, когда лампы горели только над столом, отражаясь в плосках с вареньем, а углы студии — и угол с дверцей — тонули в полумраке, Киту рассказывала нам не только о том, что в детстве хотела быть балериной, и не только о том, что Александрийская колонна в центре Дворцовой площади в Петербурге — Киту несколько лет училась в Петербурге — стоит под тяжестью собственного веса и ничем не закреплена и скульптор, чтобы заверить испуганных горожан в ее безопасности, каждое утро гулял вокруг нее с собакой, но и о совсем уж удивительных и фантастических вещах — в том числе о том, что слепленные своими руками — с душой — игрушки становятся как будто живыми, и не раз она, оставаясь в студии допоздна, возясь с печью, слышала, как они постукивают глиняными ножками по полкам стеллажей и даже тихонько перешептываются.

«А вот вдруг все-таки — правда?»

Я расчесывал колли гриву, чувствовал, как поддается под пальцами влажная, холодная глина, поглядывал на стеллажи и не знал, верю я или не верю. Верить вроде бы очень хотелось, а и холодком все-таки веяло, и мурашки сыпались по лопаткам, и один я бы ни за что не согласился проверять, правда или неправда, но вдвоем с Крылышкиным — совсем другое дело.

Поэтому когда он сообщил, что недурно все же схорониться куда-нибудь в угол комнатки и как-нибудь остаться в студии после того, как все — включая Киту — разойдется, и что самый подходящий для этого момент наступит в «следующий вторник» — то есть сегодня, — потому что его родители уедут накануне и вернуться под утро, а он останется со старшим братом, который и сам не прочь куда-нибудь наострить лыжи, — когда Крылышкин все это мне сообщил, приплясывая на месте от восторга, я тут же согласился, потому что знал, что отец ко вторнику еще не вернется, а бабушка ничего не имеет против ночевки у Крылышкина, с которым мы и в детский сад ходили вместе, и в школе учимся в одном классе и который трижды нес ее сумку от крыльца магазина и до самой квартиры.

В коридоре поднялся шум, зазвенели голоса — расходился по домам танцевальный кружок.

Мы с ними оставались последними — все заканчивали раньше.

Дверь открылась, и в студию заглянула Елена Леонидовна — руководитель.

— Катя, — окликнула она Киту. — Ты долго?



Киту оторвалась от балерины, посмотрела на часы у окна:

— Еще побудем, наверное.

Дверь закрылась, топот стал стихать, поплыл вбок, в сторону лестницы, и растаял. Затем голоса слышались под окнами, в парке — но тут же рассеялись.

Я поглядывал на окно, на то, как прокатывается по парку ветер — расталкивая кроны, взметая мелькающую под фонарями листву, — пинцетом щипал глиняные коготки на коротких собачьих лапах, смотрел то на Киту с ее балериной, то на грустную Лёлю, то на россыпь календариков в центре стола и чувствовал себя хорошо и спокойно. Но как только взгляд мой падал на полки стеллажей, сердце принималось биться чаще. Я обращившись на ряды мольбертов, на стену, до самого потолка увешанную картинами, скользил глазами по портретам — вешали только самые удачные — и вздрагивал от мысли: «А вдруг и они — тоже?»

И тут уж мне становилось совсем не по себе — и я утешался мыслью о том, что насчет портретов Киту ничего не говорила.

— Розанов? — ответила Киту на чей-то вопрос, не отрываясь от балерины. — Был такой философ... В начале двадцатого века.

Она выпрямилась, откинулась на стуле, посмотрела на балерину, прищурившись, подняв подбородок.

— Но он у нас всего ничего жил — лет пять. Учителем в гимназии. — Она слегка согнула руку балерины в локте и вздохнула. — Давайте-ка собираться.

Мы с Крылышкиным первыми повскакивали со своих мест.

— Спокойней, спокойней, — удивленно посмотрела на нас Киту. — Студию не громить.

Она осторожно подняла балерину за подставку и отнесла в самый дальний стеллаж — закутала в лоскуты полиэтилена, пристроила на верхнюю полку, в углу.

Мы своих собак рассовывали по нижним полкам — закрытым на дверцы, без стекла, — шуршали пакетами, толкались, искали место по-выгоднее, потом убрали со стола, а потом долго толпились у раковины, руки под ледяную струю совали все наперебой, мешая друг другу и брызгаясь.

— Что вы сегодня разбушевались? — спрашивала Киту, залезая на стул и одну за другой снимая с антресолей тугие папки. — Лёля, помоги-ка. Мальчики, освободите место на столе.

Она стала вручать Лёле папки, а та — перекладывать их на стол.

— Спасибо, — поблагодарила Киту, спускаясь.

— До свидания, Екатерина Андреевна, — загалдели все, поглядывая на нас с Крылышкиным. — До свидания.

— До свидания, — отвечала Киту, развязывая папки и перебирая бумаги за уголки. — В четверг не опаздывайте...

— До свидания, — сказали и мы с Крылышкиным и вышли в коридор вместе со всеми.

Нас тут же обступили.

— Тихо! Тихо! — зашипел Крылышкин. — Не галдите!

Он посмотрел на Лёлю, она неуверенно кивнула.

Мы двинулись по узкому, с картинами на стенах коридору, а когда коридор закончился арочкой, вышли в холл, от которого разбежались в сторону такие же узкие коридоры и, выгибаясь, уходила на первый этаж лестница.

— Главное — не трусьте, — наставляли нас. — А то будете там...

Крылышкин кривился презрительно.

— Если чуть что — сидите до утра, не дергайтесь.

Крылышкин вздыхал.

— Идите, идите, — говорил он. — Сами разберемся.

— А может... — жалобно протянула Лёля, — не надо?..

Крылышкин сверкнул глазами.

— Лёля! — шикнул он. — Мы сейчас схоронимся, а ты выжди и давай-ка как договаривались!

Лёля кивнула — на этот раз обреченно.

Все повалили по лестнице вниз, а мы с Крылышкиным на цыпочках, прислушиваясь к закрытым дверям, свернули в ближайший коридор и притаились за углом, в закутке. Крылышкин положил ладонь на макушку деревянного леопарда, сидящего у стены.

Деревянные фигуры стояли по всему Цэвээру\* — раньше он назывался Домом пионеров, — в коридорах, холлах, между лестничными пролетами. Фигуры были крупные, тяжелые и изображали в основном животных — леопардов, лисиц, обезьян, медведей. Был даже огромный, почти с меня ростом, петух. Фигуры стояли по углам и призваны были украшать и оживлять обстановку, кто же и когда их вытесал, было неизвестно. Говорили, что лет тридцать или сорок назад их привезли на грузовике и просто вручили руководству, которое не нашло ничего лучше, чем расставить их по углам.

Кроме леопарда, в закутке располагались еще две достопримечательности: масляный пейзаж, подаренный каким-то музеем, и большая овальная фотография в тяжелой резной раме. Пейзаж демонстрировал темный, почти черный, в сумерках, берег, врезающийся в серо-синюю гладь реки, с черно-белой, нечеткой по краям фотографии смотрела внимательно и спокойно княгиня Мария Клавдиевна Тенишева — в черном, под подбородок платье, обвитом по плечам двумя рядами белых бус. До того как стать Домом пионеров, Цэвээр был ее, княгини, особняком, в котором она, понятно, жила. И не просто особняком, а, если хотите, настоящим дворцом — в залах первого этажа устраивались балы, у крыльца скрипели колесами кареты, всхрапывали, встряхивая гривами, лошади, по коридорам расхаживали пышно разодетые дворяне, играл оркестр, а за дверями, за которыми сейчас прячутся кружки и секции, шуршали коврами богато убранные покои. О самой княгине я знал мало — почти ничего не знал, кроме того, что она была добра и что под сводами дома, который она при жизни так любила, или на старом, не используемом, заложенном кирпичами крыльце можно встретить ее призрак.

Сперва слышно было, как на первом этаже шумят, одеваясь, наши, как громыхает, закрываясь, входная дверь, потом стало тихо, а потом мы услышали, как Лёля стучит каблучками по лестнице, поднимаясь.

— Как косуля, — шепнул Крылышкин и прикрыл рот ладонью, чтобы не рассмеяться.

Лёлины каблучки простучали через холл, отозвались гулким эхом в коридорчике. Скрипнула едва различимо дверь студии — и снова стало тихо, до звона в ушах.

Крылышкин погладил леопарда по деревянному лбу. Я подумал: «А вдруг и они — тоже?» — по шее снова повеяло холодком — и уже собирался озвучить предположение Крылышкину, как скрипнула вновь дверь студии, зазвенел эхом, вырвался в холл и потянулся к лестнице

---

\* ЦВР — Центр внешкольной работы.

перестук каблуков. Лёля перестукивала мелко, дробью, Киту размеренно, с достоинством.

— Не знаю, Екатерина Андреевна, — пищала Лёля, — попросили спуститься...

Перестук прозвенел по лестнице, стал затихать.

Крылышкин хлопнул меня по плечу и вынырнул из закутка. Я — за ним. Стараясь не топотать, мы пересекли холл, просеменили по коридору и юркнули в приоткрытую дверь студии.

По столу были в несколько рядов разложены документы из папок, рядом возвышались кипы старых рисунков, эскизы, наброски, сделанные задолго до того, как мы с Крылышкиным впервые прикоснулись к глине или краскам.

Вмиг мы перелетели студию — замелькали вокруг стеллажи с игрушками, мольберты, портреты на стенах — и оказались в комнатке с печью. Крылышкин рухнул на колени, раздвинул в стороны кувшин и коробку и исчез под верстаком. Я влез следом за ним, под верстаком началась давка, потом мы кое-как зафиксировались, прижались к стене, упершись друг в друга коленями, загнав куртки совсем уж куда-то вглубь, к печи. Крылышкин потянулся и вернул на место коробку, приставил к ней кувшин.

Потом он посмотрел на меня огромными сияющими глазами. Я восторженно затряс головой. Он прислушался и приложил палец к губам.

Возвращалась Киту.

Откуда-то издалека — как сквозь вату — раздался стук каблуков и долго стучал, делаясь понемногу громче. Потом скрипнула тихонько дверь и снова застучали — теперь совсем близко — каблуки.

Мы услышали, как Киту отодвинула стул от стола, села и придвинулась.

Сердце мое грохотало — и не в груди, а где-то у ключиц, отдаваясь в висках. Дыхание у меня перехватывало от восторга, я сидел, съездившись, не решаясь повернуть голову, упираясь лопаткой в жесткую, углом ногу верстака. Рядом так же жался, не шевелясь, втянув голову в плечи, Крылышкин. Он сидел на наших куртках, я — на полу.

Под верстаком пахло опилками, пылью, из коробки тянуло краской — Крылышкин спихнул туда горсть тюбиков, — а от печи — сухим, песочным каким-то воздухом, пропитавшим собой всю комнатку.

Напротив нас, у шкафа, белели свертки, и сквозь туго натянутый в несколько слоев полиэтилен можно было различить узоры орнамента, обрывающиеся неровными, сколотыми краями.

Тишина в комнатке стояла страшная — только глубоко в стенах едва различимо гудели трубы. Слышно было, как Киту шуршит бумагами, как поскрипывает стулом, как щелкает кнопкой авторучки. В комнатке — под потолком — горела тусклая, в мутном плафоне лампа; если вытянуть шею, видно было выглядывающий из-за печи край сияющего дверного проема, а сквозь него — дальний угол студии, мольберты у подоконника, занавеску, цветочный горшок и картины на стене.

Крылышкин осмелел и крутил головой по сторонам: смотрел то на меня, вскидывая брови — как, мол? — то на столешницу, по углам затянутую паутиной, то вытягивал шею и косился на дверь. А потом вообще расцепил руки, задержал дыхание и устроился поудобнее, упершись ладонями.

Я ворочаться не стал — хотя верстачья нога больно врезалась в лопатку, — но одну руку медленно опустил, положил ладонью на прохладный, шершавый от пыли и глиняных крошек пол.

Под нами, на первом этаже, — а по звуку так где-то глубоко под землей — стукнула дверь, потянулись в сторону шаги. Сторож закрыл актовый зал. Сквозь студию долетел до нас, дотянулся до верстака, скользнул под него и растаял тонкий, грустный гудок, закачался ровный перестук — за парком вытягивалась, взлетала на насыпь железная дорога, и сейчас по ней шел поезд.

Киту перестала шуршать бумагами, затихла. Потом скрипнула стулом, прошла через студию. Мы услышали, как проскрежетало, открываясь, окно — и перестук стал громче, где-то засигналил автомобиль, зашумела даже под ветром листва. По ногам повеяло холодом.

Какое-то время мы сидели, вслушиваясь, а когда перестук стал истончаться и затихать, выгнувшись напоследок еще одним гудком, окно снова проскрежетало — и комнатка вновь погрузилась в тишину, как если бы вдруг упала в воду. Киту зашагала по студии, захлопала дверцами ящиков, зашуршала, доставая что-то, мелко звякнула карандашами в карандашнице, забормотала неразборчиво.

Потом шаги стали громче, светлый проем моргнул, сухо скрипнул кафель у печи — и Киту прошла мимо верстака к шкафу. В промежутке между корбкой и кувшином прошелестел край юбки, мелькнула белая щиколотка.

Мы с Крылышкиным окаменели, я задержал дыхание.

Киту стукнула дверцей шкафа, стала что-то искать. Я понял, что сейчас задохнусь, медленно, сложив губы трубочкой, выпустил воздух, так же медленно вздохнул. Крылышкин сидел закрыв глаза, лицо у него было пунцовое.

— Да где же... — пробормотала Киту. — А!

Опять зашуршали бумаги, Киту хлопнула дверцей и вышла из комнатки.

Крылышкин, не открывая глаз, тоненько засопел — и стал бледнеть. Побледнев до нормального состояния, он оторвал руку от пола и долго чесал нос — и только потом открыл глаза и посмотрел на меня. «Во как! — говорил его взгляд. — Сейчас бы р-раз — и весь план мимо».

Я кивнул.

А потом шаги Киту зазвучали у самой двери, проем снова моргнул, шелкнула кнопка выключателя — и лампа в комнатке погасла. Проем моргнул еще раз, и Киту продолжила шуршать бумагами в студии. Я заворочался, отпихивая спиной верстачью ногу, поменял лопатку. Крылышкин тоже заворочался — за компанию.

Теперь углы комнатки и все пространство под верстаком таяли в темноте, и только на полу вытягивался, ломаясь и залезая на стенку шкафа, прямоугольник света от двери.

Вообще, Киту, конечно, уже должна была триста раз как уйти — она уходила почти сразу за нами, и если мы оставались дразнить Лёлю в парке и прятаться от нее за деревьями, то часто видели, как она, Киту, спускается по ступеням крыльца, кутаясь в пальто, натягивая на белые руки тонкие перчатки, а потом идет через парк той дорогой, которой сегодня брел, шмыгая, Олег Викторович. Или он встречает ее у крыльца и они идут вместе — причем она держит его под руку и идет ровно, выпрямившись, а он шагает как-то перекосившись и приседает на одну ногу.

Триста раз должна уже была уйти Киту — а сегодня вот решила не уходить. Не то чтобы мы с Крылышкиным не были готовы к такому повороту, но где-то в груди у меня заворочалось беспокойство: а вдруг она решит всю ночь вот так бумагами шуршать? Я посмотрел на Крылышкина, но ничего на его лице разобрать не смог — под верстаком было темно, только его, Крылышкина, щека и лоб белели рядом, а уж какое у него там лицо — обе-